

# МАРИЯ АРБАТОВА

ВИЗИТ  
НЕСТАРОЙ  
ДАМЫ

Мария Арбатова

**Визит нестарой дамы**

«ФТМ»

2008

## **Арбатова М. И.**

Визит нестарой дамы / М. И. Арбатова — «ФТМ», 2008

Роман-мистификация. Роман-головоломка. Роман, в котором реальные и полуреальные персонажи столичной художественной и литературной богемы действуют в поразительном лабиринте психологических ловушек... Члены компании одноклассников, прошедшие через тяжкие годы экономических реформ, тестируют друг друга на тему любви, измены, эмиграции, профессиональной продажности, личностной состоятельности, алчности. И смотрят, кто из них оказался победителем, а кто проигравшим.

© Арбатова М. И., 2008

© ФТМ, 2008

## Содержание

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ	5
ДЕНЬ ВТОРОЙ	10
Конец ознакомительного фрагмента.	19

## Мария Арбатова

### Визит нестарой дамы

*В пятидесятых рождены.  
В шестидесятых влюблены.  
В семидесятых болтуны.  
В восьмидесятых не нужны.  
Ах, «дранг нах остен, дранг нах остен»!  
Хотят ли русские войны?  
Быть может, будем в девяностых  
России верные сыны.*

**Евгений Бунимович**

### ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

*Осыпается сложного леса  
пустая прозрачная схема.  
Шелестит по краям и приходит  
в негодность листва.  
Вдоль дороги прямой провисает неслышная лемма  
телеграфных прямых, от которых болит голова.*

**Александр Еременко**

Было так плохо слышно, что я не узнала его голос. Тем более что он первый раз в жизни не паясничал.

– Завтра ночью прилетит моя сестра и остановится у тебя, – сказал он.

– Откуда у тебя сестра? – спросила я, чтобы не спрашивать всего остального.

– Она объяснит. Встречать в аэропорту не надо, но ей должна быть предоставлена отдельная комната.

– Сколько ей лет?

– На десять лет моложе нас. – Пауз он не выносил, и я решила затаиться. – Наверное, я должен сказать «целую»? – спросил он в конце паузы.

– Это акт свободной воли, – ответила я.

– Тогда пока, – сказал он и положил трубку.

Лаконичности, с которой человек, не подававший признаков жизни в течение трех лет, сообщил о моих правах и обязанностях в его жизни, заставила заистерить. Три года я выстраивала жизнь без него, эмигрировавшего семь лет назад, и добилась результатов. И вот теперь какая-то сестра?

Мне не было жаль времени на нянченье гостыи, тем более что стоял июнь, мои девчонки отправились на Запад по студенческой халяве, а Валера уехал снимать политическое шоу в Прибалтику. Я проводила сутки в бессмысленном разглядывании чистого холста, тусовках и самоистязании на тему идентификации себя в пространстве и времени. Последнее было популярнейшим занятием интеллигенции в этом сезоне, когда уже стало понятно, на что жить, но еще оставалось загадкой, как и зачем.

Воспитанное с понятием «цель жизни», мое поколение обломалось на его трансформации в «дело жизни» и совсем уж завяло на конверсии в «стиль жизни». Дочки, например, объясняли мне, почему черные джинсы с вот такой строчкой «идеологические», а с вот такой – «не идеологические», что уважающий себя человек стилизует пространство и время собственной жизни, а мы – «потерянное поколение». Я слушала их, как заблудившийся в лесу слушает

советы лешего о приготовлении мухоморов; но лес все не кончался и не кончался, и мысли упирались в то, что либо я проживу остаток жизни в поисках тропинки, либо разберусь в мухоморной гастрономии...

«Дело жизни» я представляла как «вот все, суки, продавались и прогибались под коммунистами, теперь продаются и прогибаются под экономическими реформами, а я, зайнышка и солнышко, чиста, резка и профессиональна». Получив достаточную пайку признания и валюты, я ни секунды в этом сезоне не понимала, для кого это «дело» всю жизнь делала, на каком отрезке биографии и саморазгадки нахожусь, кто есть моя референтная группа, «что делать?» и «кто виноват?». Это совершеннейшим образом изобличало мою пострусскость, постсоветскость и полный инфантилизм, но было сильнее меня.

Поэтому я радостно селила и пестовала проезжих, бездомных и театрально хлопающих дверьми своих квартир перед носом близких, в любое время и по первому требованию заполняя штатную единицу кормящей матери. Я занималась всеми подряд, чтоб только не заниматься самой собой. Но телефонное распоряжение Димки было про другое. Оно означало «мы так завязаны друг на друга в этой жизни, что уж не до любезности», а также «помни, что половина твоего жилья принадлежит мне».

Звонок в дверь был хозяйским, несмотря на час ночи. Если Валера мог рассказать все о сексуальной биографии женщины по тому, в какой манере она брала его под руку, то я по звонку в дверь всегда определяла, сколько находящиеся в квартире должны нажимающему пальцем на кнопку. Данный звонок представлял мою жизнь как долговую яму величиной с бочку Данаид. Высокая, напряженная, густо накрашенная и неистово похожая на Димку блондинка стояла передо мной, прищуривав синие глаза, и обнимала огромный, пытающийся разобратся на части сверток.

– Привет, самолет немного задержали, – сказала она в нос голосом, похожим на Димкин, когда бы не гнусавость и повышение интонации к концу слова и фразы. – Куда чемоданы? – И водитель поволок стаю дорогих огромных чемоданов в комнату моих дочерей. – Меня зовут Дин, я очень устала – много часов в воздухе! Где душ? У меня болит голова... Кто еще есть в квартире? – произнесла она раздраженным тоном человека, не нуждающегося в ответах и сочувствии, после того как водитель скрылся. – Ты совсем не загорела, а говорят, в Москве жарится... Мне нужно полотенце, а шампунем я пользуюсь только своим. Это тебе. – И, сунув пакет, прошуршала в ванную витиеватым джинсовым костюмом. Она была так похожа на Димку внешностью и искренностью хамства, что завораживала меня и тормозила ответные реакции.

Я села на кухне, достала из пакета изыски летнего трикотажа и только тут по ярлыкам поняла, что красотка прилетела из Америки. Я проглядела майки и сарафаны, пожалела, что они не попали в нашу кухню до отъезда дочек на отдых, то-то была б экономия, и придумала несколько вопросов. Однако гостя не явилась за ними, и пришлось стучать в комнату.

– Ты что-то хочешь сказать? – спросила она без энтузиазма, приоткрыв дверь.

– Я хочу сказать, что меня зовут Ирина, – объявила я.

– Я знаю, – ответила Дин, поигрывая кистями бордового шелкового халата.

– Еще я хочу сказать, что это не гостиница, а мой дом, и здесь я привыкла задавать вопросы и получать на них ответы.

– Извини. – Губы ее иронически дрогнули, как у светской дамы, получившей от хозяйки деревенское предложение снять в доме уличную обувь.

– Откуда ты прилетела? – Мне ничего не оставалось, как тыкать в ответ на ее тыканье.

– Из Нью-Йорка.

– А где ты живешь?

– В Нью-Йорке.

– Привезла ли ты письмо от Димки?

– Нет, только подарки. – Лицо ее на минуту перестало быть маской с заклеенными гримом порами, она тронула меня за рукав, опустила ресницы, которые, спорю на ящик шампанского, были клееными, и сказала: – Мне очень тяжело. Меня много лет не было в Союзе. У меня все внутри дрожит. Я не знаю, как с тобой общаться... Мне говорили, что вы здесь все сошли с ума.

– Это правда, сошли, – ответила я, пытаюсь, затянув диалог, разглядеть в ней то неуловимое, что не давало мне покоя, – причем все в разные стороны.

– Ты на редкость адекватна.

– Это только по первому слою. Ладно, продолжим завтра.

Я слышала, как шелкнула задвижка, которой мои девчонки пользовались, прячась друг от друга в горячке малолетних драк. «Частное пространство, падла, охраняет», – подумала я и поняла, что тоже с удовольствием заперлась бы от нее.

Она почему-то генерировала во мне тоску, экзистенциальную тоску, которая налетает, как сорвавшаяся от ветра простыня с бельевой веревки, и оборачивается вокруг тела густой больничной белизной.

Всю предыдущую жизнь у Димки сестры не было! Его генеалогическое древо с бойкой рязанской мамкой и еврейским папашей-математиком я знала лучше, чем порядок кастрюль в кухонном буфете. Мы еще в дооктябрьском детстве определились друг к другу как брат и сестра и тянули эту лямку сквозь юношеский флирт и студенческий дежурный секс. Собственно, у меня был родной брат, но он никогда не выходил из роли семейного тирана, и, назначив его «плохим братом», я назначила соседа Димку – «хорошим братом». Такое распределение ролей устроило всех; и мой брат, рядовой солдат дворовой дедовщины, за всю жизнь не дал Димке ни одной оплеухи, считая его придурком с папочкой для сольфеджио.

Димкина мать, добротная провинциальная тетка, преподававшая в старших классах труд девочкам, истязала единственного ребенка музыкальной школой и, не сломав кто-то из наших ему палец в седьмом классе, донесла бы бедного Димку в зубах до конкурса Чайковского. Уж эти не востребуемые судьбой мамашки, месящие потными ладонями вместо собственного жизненное пространство детей!

Жила бы себе в деревянном домике с геранью и фарфоровой лыбедью на подоконнике, жалела бы мужа-пьяницу, работала бы озеленителем в ЖЭКе, – никогда не пришло бы ей в голову будить ребенка за два часа до школы речевкой «Вставайте, граф, вас ждут великие дела» и сажать за «Красный Октябрь», который она совершенно искренне считала музыкальным инструментом, а не мебелью. Жила бы себе в деревянном домике, не охмутаив Димкиного рассеянного папашу, вечно семенящего куда-то с потертым кожаным портфелем, знавшего по именам все звезды и путавшего по именам соседок, будя этим антисемитские настроения. Там, между геранью и лыбедью, ела бы свое внятное провинциальное бабское счастье по имени «все как у людей» и не разлиновывала бы жизнь сына и мужа по клеточкам странного, не дающегося в руки понимания городского мира, и не заполняла бы клеточки крепкой крестьянской ладошкой, как любимую клумбу около школы. Нянчила бы сейчас внуков, а не лежала бы на Хованском кладбище, уйдя от инфаркта, полученного в боях с сыном за его право эмигрировать.

Да и у меня нервы были бы покрепче, не сочись Димкина музыкальная эволюция со спинки «Красного Октября» на пятом этаже в спинку моей кровати на четвертом и не оплодотворяй мой ежедневный утренний сон программными произведениями от «Петушок, петушок – золотой гребешок» до «Венгерской рапсодии».

Ежеутренняя схватка музыкального наследия с деревянными от недосыпа пальчиками проливалась золотым дождем на нашу кухню, где отец заваривал чай, курил и просматривал газеты; на нашу ванную, где мать вынимала из крашенных хной до дурного цвета волос голубые



обрубки бигудей; на нашу большую комнату с разобранной софой и кондовым хрусталем в серванте, означавшим хрущевское благоденствие; на детскую, где, разгороженные книжными шкафами, спали по своим углам я и брат, одинаково ненавидя пузатый будильник, школьную форму и родительское насилие, но совершенно по-разному относясь к остальным компонентам мироздания.

– Моцарта сделала дисциплина, – говорил отец, улыбаясь в усы.

– Мальчик совсем зеленый, представляю, какой у него гемоглобин! – возмущалась мать и добавляла свое любимое: – Пустите Дуньку в Европу!

Нельзя сказать, что наша хрущевская новостройка особенно напоминала Европу, но Димкина мамаша, окончившая после войны курсы озеленителей, назначила себя местной Шанелью: отчего не было спасу ни дворовым клумбам, ни ее платьям и прическам, в которых самый терпимый редактор убрал бы ровно половину.

В башке у нее всегда было свое кино. Она стоя разговаривала по телефону, потому что первый раз увидела его взрослой тетенькой, и поджигала духовку для пирогов свернутой в трубочку страницей из Достоевского. Однажды в школе она увидела, как я, дежуря по классу, мою полы, с отвращением вода мерзкой шваброй по линолеуму гнусного цвета, завизжала как белуга, сдернула тряпку и начала тереть пол, задрав к потолку мощную учительскую задницу.

– Не смей филонить, а то год будешь дежурной! Ты что, не видела никогда, как мать пол моет? – вопила она.

– Никогда, – призналась я, потрясенная несоразмерностью собственного проступка и высоты ее крика.

– А кто же в вашем доме полы моет?

– Рая с первого этажа.

Дворничиха Рая приходила мыть полы, окна и чистить сантехнику, зарясь, кроме денег, на пустые бутылки и ношенные вещи.

– Понятно, – ответила Димкина мать и с тех пор до конца жизни здоровалась с моей матерью сквозь зубы. Конечно, она была не виновата, что выросла там, где «прежде, чем брать девку замуж, смотрят, как она полы моет», но ведь свой устав она, мигрантка, навязывала мне, дочке интеллигентной москвички, у которой для мытья полов со дня рождения в той или иной форме уже была ангажирована своя такая же мигрантка.

Как-то она выследила нас с Димкой за грязным делом... Как у всех подростков нашего поколения, у нас были нездоровые отношения с телефоном: мы набирали случайные номера, вступая в глумливые телефонные связи, назначали липовые свидания и интриговали с одноклассниками, примитивно хулиганили. «Здравствуйте, с вами говорят с телефонной станции, вы хорошо меня слышите? А теперь дуньте, пожалуйста, в трубку. Спасибо. Плюньте, пожалуйста, в трубку. Спасибо. Сложите, пожалуйста, телефонный шнур вдвое. Спасибо. А теперь засуньте его себе в жопу!» или «Здравствуйте, с вами говорят из ЖЭКа. Произошла авария, через десять минут у вас будет отключена горячая и холодная вода. Скорее наберите полную ванну. Здравствуйте, это снова из ЖЭКа. Вы уже набрали воды? Спасибо, пошире откройте двери, сейчас к вам приведут купать слона!»

Мы попались на слоне, Димкина мамаша подслушала его во всех подробностях с лестничной площадки, впившись ухом в замочную скважину, после чего Димка был зверски бит ремнем, а мне на месяц закрыли дорогу в верхнюю квартиру.

– Конечно, телефон для другого, но бить ребенка так, как будто он украл кошелек, этого я не понимаю, – полулиберально прокомментировал мой отец.

– Что ты хочешь, если ее бабушка и дедушка были крепостными, – фыркнула мать, обожавшая собственную родословную.



Все это да, думала я... Но сестры у него не было! И, вынимая из памяти, как из компьютерной графики, эпизоды лица этой хабалки Дин, отчетливо синие глаза – против черных Димкиных, горбатый нос – против Димкиного античного, светлые волосы – против Димкиных темных, нездорово здоровые американские зубы – против Димкиных обычных и накладные алые когти, я ощущала детскую ревность, потому что ни с одним существом в мире не собиралась делить совершенно ненужного мне Димку.

## ДЕНЬ ВТОРОЙ

*Все это называлось «детский сад»,  
а сверху походило на лекало.  
Одна большая няня отсекала  
все то, что в детях лезло наугад.  
И вот теперь, когда вылезит гад  
и мне долдонит, прыгая из кожи,  
про то, что жизнь похожа на парад,  
я думаю: какой же это ад!  
Ведь только что вчера здесь был детсад,  
стоял грибок, и гений был возможен.*

**Александр Еременко**

...Когда я проснулась и нечесаная выползла на кухню к чашке кофе, после которой мир переставал казаться шумным и навязчивым, Дин уже сидела перед стаканом сока, благоухая парфюмерией. Кухонные полки, забитые запыленной керамикой и жестяными кувшинами, когда-то за бесценку привезенными с восточных базаров, очень не шли ей. Она выглядела чужой дубовому столу и антикварному дивану, давным-давно вынесенным с арбатских помоек, моим старым работам в дешевых рамах и сопливому крану над раковиной.

– Доброе утро, – сказала я и поставила кофе на огонь.

– Привет.

– Что ты будешь на завтрак?

– У меня диета. Только сок.

– Вы там все свихиваетесь на оздоровлении сильней самих американцев. Хотите быть большими католиками, чем папа римский, – пробурчала я.

– Это не худшее, на чем мы там свихиваемся, – ответила она и тряхнула плечом, совсем как Димка.

– У тебя даже голос похож на Димкин, ты даже говоришь так же, – упрекнула я и включила музыку, чтобы не слышать Дин так подробно.

– Да, большое влияние брата эти семь лет и мое сильное обезьянничанье сделали свое дело... Если у тебя в Америке никого и вдруг появляется старший брат, о существовании которого ты не подозреваешь... – ответила она каким-то подвирающим голосом, а может быть, я цеплялась из ревности.

– Неужели уже семь лет, как он уехал? – Ха-ха-ха, полный клеточный обмен организма, как нас учили в школе по биологии, в моем организме не осталось клеток, приобщенных к Димке. – Ну да, правильно, восемьдесят восьмой год, начало вывода войск из Афганистана, комитет «Карабах»... Мы ходили с Димкой на армянские митинги...

– Он рассказывал...

– Что значит «брат, о существовании которого ты не подозреваешь»? – переспросила я и уставилась на нее изо всех сил.

Она вздрогнула всем своим масс-культурно-рекламным обликом, заерзала накладным маникюром по стакану с соком и ответила с вызовом:

– У нас общий отец!

Сказать, что я подавилась кофе, значит ничего не сказать... Я подавилась, захлебнулась, закашлялась и чуть не свалилась со стула, пока Дин участливо созерцала мои корчи. Михаил Моисеевич! Тишайший дядечка с пятого этажа, мужчина породы «еврей-отличник», натянутый на собственную биографию руками жены как холст на подрамник, имел вторую семью!!!

– Если бы у меня было право, я бы сказала: не может быть! – выдавила я из себя, и Дин со справедливой неприязнью пожала плечами. – Извини, ради бога, мою бестактность, но... Я знала его с детства, и мне трудно адаптироваться так сразу... Это твой отец, все его очень любили, но это так неожиданно... Такой однозначный Михаил Моисеевич, можно сказать, ум, честь и совесть... Царство ему небесное.

– Он бывал у нас дома, в Москве... Но то, что это мой отец, стало ясно только в Нью-Йорке, когда мать заказала его портрет в полстены.

– Американки почти не красятся, – зачем-то сказала я.

– Да, они все феминистки. У меня есть проблемы. Автокатастрофа. Все лицо прошло через мясорубку. Конечно, очень хорошо собрали, но в косметике я чувствую себя защищенной.

– Как это тебя угораздило?

– Большая скорость, большое количество джина и большая депрессия. Не самая любимая история для воспоминаний.

– На сколько лет ты моложе Димки?

– На десять.

– У тебя есть его последние фотографии?

– Нет. За эти годы он изменил жизнь. Его невозможно заставить сфотографироваться или сняться на видео. Сейчас же у нас каждый чих снимается на видео, любые гости, любой пикник... Я взяла камеру и хочу вас всех поснимать для него.

– Кого всех?

– Ну, всю компанию.

Только тут я поймала сонным глазом опирающуюся на сахарницу нашу последнюю фотографию, поставленную Дин. По сильной изношенности краев я поняла, что это Димкина фотография, моя такая же, в лоне семейных альбомов, выглядела посвежее. Мы вшестером стоим, обнявшись, в Шереметьево-2. Бритый наголо Димка в центре обнимает меня и Пупсика. Пупсика держит за талию хмурый Васька, а возле меня стоят Ёка и Тихоня с растерянными лицами. Ветер размахивает нашими волосами, все напряжены, как на экзамене. Сейчас мы засунем Димку в самолет, в непонятную недоброжелательную другую жизнь, в жизнь без нас. Мы еще страшно нетерпимы к любой эмиграции, потому что для нас эмиграция – это еще «навсегда», это еще предательство новых возможностей, плюсы которых мы представляем отчетливо, а минусы – ни капельки.

– Нашу компанию? Ну, это нереально, – проямлила я, – сувенирная съемка нашей компании подорожала... У тебя заказ на съемку компании?

– У меня определенная миссия. Я не знаю, как ты это воспримешь, это нормально для Америки, я здесь как финансовый распорядитель брата, и мне нужно встретиться со всеми вами вместе.

– Хочешь сделать всех распространителями какой-нибудь американской дряни? Это мимо, у нас теперь даже в объявлениях о работе пишут «интим и гербалайф не предлагать». – Я почувствовала себя туземцем, которого хочет обмишулить Миклухо-Маклай, выбившийся из своих. Я уже наелась общества московской интеллигенции, кормящейся на западные деньги и клеящей знакомых в эшелон дешевой рабочей силы.

– Ты меня не дослушала... Последние четыре года жизнь моего брата изменилась. Он увлекся духовным опытом, стал высоким духовным лицом среди кришнаитов, и деньги, которые он до этого заработал, потеряли для него смысл. Часть он отдал в общину, а часть мне поручено разделить между вами, – чрезвычайно торжественно объявила она.

– Час от часу не легче! Димка стал кришнаитом? – Кажется, я окончательно проснулась. – У тебя что ни новость, то удар в печень!

– Мы в Америке считаем, что каждый самостоятельно ищет свой путь, – ответила она презрительно.

– Только мне этих песен не надо, то-то все эмигрантские письма заполнены сплетнями друг про друга. – Не выношу весь этот пафос новообращенства, когда наши, брызгая слюной, рассказывают, какая демократичная Америка, какая терпимая Англия, какая изысканная Франция и какая просторная Австралия, не выношу всех этих эмиграционных душечек. – Американский менталитет хорош для того, кто родился в Америке, и не в первом поколении!

– Но ты не была в Америке!

– Ну и что?

– В Америке надо пожить, чтобы делать выводы, – поджала губы она.

– Но мне не интересно жить в Америке, в моей жизни зарубеж существует для туризма.

– Квасной патриотизм!

– Или оценка собственной состоятельности. Если в тебя не стреляют, то нечего вешать всех собак на страну за собственные неудачи.

– Мне казалось, за эти годы вы должны были стать терпимее...

– Я лично никому ничего не должна. – Я поняла, что сейчас мы вцепимся друг другу в волосы, как когда-то, обсуждая эту же тему с Димкой, и решила дать отступную. – В конце концов, мы люди разных поколений и разного опыта, и давай говорить о том, что мы понимаем одинаково.

– Если найдем, – скривилась она. – Впрочем, моя задача – исполнить свою миссию, не отвлекаясь на идеологию. Мы должны собраться вшестером и обсудить ситуацию с деньгами.

– Откуда у Димки деньги?

– Я не имею полномочий обсуждать это. – Она все время лупила фразами, переведенными с английского на русский, и, видимо, уже не чувствовала этого.

– Всех вместе не собрать.

– Почему?

– Я могу ответить твоим языком, что не уполномочена обсуждать это, но я отвечу, что потому, что здесь изменилась жизнь и это долго объяснять человеку, который жил столько лет не с нами.

– Ты имеешь возможность мне помочь?

– Да, но только для того, чтобы ты сама убедилась, что это дохлое дело. – Я принесла записную книжку и набрала телефон Ёкиного офиса.

– Фирма «Маргарита» слушает вас, – бойко ответил молодой мужской голос.

– Будьте любезны Маргариту Магометовну.

– У нее совещание. Кто ее спрашивает? – обозначил голос Ёкин статус, измеряемый количеством денег.

– Ирина Ермакова, – ответила я, не теша себя надеждой, что фамилия будет оценена молодчиком в связи с моим вкладом в отечественную культуру. Замурлыкала музыка телефонной переключалки, подтверждая процветание фирмы «Маргарита», и хриплый голос Ёки заорал:

– Ирка, давай быстро, у меня люди!

– Привет, – сказала я томно.

– Ну?

– Не нукай, не запрягала, – еще томней ответила я.

– Ты, блин, говорить будешь? – взвилась она.

– Буду, как только ты вспомнишь, что я в твои шестерки не нанималась!

– Ну что, блин, надо? Мне на работе некогда твое самолюбие окучивать, – сбавила тон она.

– А ты мне не платишь за то, чтобы в твои рабочие часы оно у меня уменьшалось. – Последние годы для того, чтобы наладить контакт с Ёкой через ее «новую русскость», на нее приходилось выливать ведро холодной воды.

– Ну ладно, как дела? – спросила Ёка с интонацией, приближающейся к человеческой.

– Классно. Можешь сегодня вечером быть у меня?

– У меня бизнес, это ты – птичка божья.

– В гробу я видала твой бизнес. Приехала Димкина сестра из Америки...

– Откуда у него сестра? – завопила Ёка.

– Короче, она хочет собрать всю компанию.

– Тусоваться мне некогда, но откуда у Димки сестра?

– Тусоваться она не предлагает. У Димки съехала крыша, он определился в кришнаиты, а сестре поручил раздать его длинные доллары, которые ему по причине высокой духовности уже не в кайф. Врубаешься?

– Откуда у него деньги? Откуда у него сестра? Это наколка! – заверещала Ёка.

– Я не налоговая инспекция, чтобы выяснять, откуда у него деньги, а сестра настоящая, приезжай убедись. Я эту новость уже преодолела. В семь ты должна быть у меня.

– Ладно. Держу пари, что это аферистка.

– Он мне звонил вчера.

Возникла пауза.

– Буду. Но нет у него никакой сестры! – резюмировала Ёка и бросила трубку.

– Она придет? – спросила Дин.

– Конечно, но она самый достигаемый вариант.

Мы помолчали.

– Там тебе вечернее платье, я распаковала чемоданы, – сказала Дин.

– Дед Морозов не люблю, – нахохлилась я.

– Я только исполнитель, пойдем померим.

Комната моих девчонок была завалена и разукрашена потрохами американских чемоданов. Свертки, пакеты и коробочки покрыли все горизонтальные поверхности и напоминали сказку про горшочек с кашей, заполонившей дом и город.

– Как все это умещалось в чемоданах? – спросила я, разглядывая пузырьки, банки и флаконы, выросшие лесом на письменном столе моей старшей Аллы.

– Я имею много поездок, и пришлось научиться упаковывать вещи, – засмеялась Дин.

– Жалко, что дочки уехали. Старшая, Алла – припанкованная аскетка, а вот младшая, Алена, уже залезла бы в твои примочки и все бы на себя намазала.

– Я оставляю им это, когда буду уезжать, а вот платье. – Из пакета зашуршало нечто черно-серебристое полупрозрачное.

– Очень дорогое, – смутилась я.

– Это меня не касается, раздевайся, – скомандовала она.

И я, профессиональная натурщица, ненавидящая женскую баню и нудистский пляж, послушно расстегнула халат. И, оставшись в бикини, начала осторожно влезать в шелестящий подарок под пристальным взглядом Дин. Конечно, это было ошибкой, и мгновенно пахло амикошонской атмосферой бабских переодевалок с разглядыванием друг друга и оцениванием по потребительской шкале. В целом мне еще было что показать и чем похвастаться перед молодой ухоженной девкой; как художница, я ставила нормальную отметку собственной плоти, но рассматривание себя голой без всякого прикладного интереса ощущала как нарушение частного пространства.

– Файн? – отозвалась Дин, когда я влезла и застегнулась.

– Декольте великовато. Вся грудь на улице.

– Это же для приемов, а не за картошкой ходить, – успокоила Дин. – У тебя все еще отличная фигура.

– Мы, конечно, мамонты, – напряглась я на тактичное «все еще», – нам, конечно, уже вымирать пора, но фигуры на жизнь пока хватает. В прошлом году была финансовая яма, так я месяц работала натурщицей. Конечно, не без понта и не без фотографий этой акции в желтой прессе.

– А ты вообще с чего имеешь деньги, с живописи? – спросила она.

– Работы сейчас плохо продаются. Золотые дни галеристов позади. Алименты на дочек. Потом целый год сдавала комнату французскому студенту, заодно девчонки язык шлифовали.

– В процессе шлифовки не забеременели?

– Сначала возбудились, сколькими гелями он моется и сколькими дезодорантами брызгается, а потом, когда пришлось выметать из-под его кровати обертки от сникерсов и пакеты от сока, любовь ушла. До сих пор после него тараканов не выведу. – Я закурила и начала разглядывать себя в зеркале. Такого платица у меня по жизни еще не было. Валера упадет, когда придет.

– Нравится? – спросила Дин.

– Со страшной силой. Ты не куришь?

– В Америке сейчас это... дурной тон.

– Америка сама по себе дурной тон, – начала было я, но осеклась, да и потом мысли о том, как Димка ходил по магазинам, выбирая это платье, настроили на более сентиментальный лад. – Знаешь, когда мы с Димкой учились в школе, а родители были на работе, мы обожали наряжаться и играть во взрослых. Например, я напяливала платье Димкиной мамашки, вставляла на ее каблук, надевала шляпу, на которую она пришивала пластмассовый цветок из галантереи. Ты уже не застала их, тогда еще не было матерчатых искусственных цветов, а продавались такие отлитые, как мыльницы, ромашки всякие, розы, фундаментальные, как кефирные бутылки...

– Я знаю, они воткнуты в твою картину «Школьные годы чудесные», там мать бьет ребенка пластмассовыми цветами, – почему-то раздраженно откликнулась она.

– Точно. А где ты ее видела?

– У брата.

– А писал, подлец, что продал!

– Это было давно, может, теперь и продал.

– Так вот, я обряжалась мамашей, а он – Михаилом Моисеевичем, в таком беретике, ранец брал вместо портфеля, а очки у них были одинаковые. Он приходил домой и говорил: «Родная, не кричи на меня, у меня болит голова!» А я орала: «Нечего было столько работать, за письменным столом портки протирать! Здоровье надо беречь, на природе гулять, газоны садить! Иди есть, я тебе суп налила!» Димка-отец говорил: «Родная, я не хочу суп. Я устал, я хочу прилечь». А я, Димкина мать, отвечала: «Без супа нельзя! От супа вся сила! Без супа заболеешь животом и умрешь! Иди ешь, я же не буду обратно выливать». Димка-отец покорялся и отвечал: «Хорошо, я не хочу, но я съем суп. Заметь, только потому, что ты хочешь». К супу она относилась как к культовому предмету, соединявшему ее с сельским детством, и пыталась через него, через этот один и тот же невнятный и невкусный суп, насильно соединиться со своими близкими. Она колдовала над ним, как ведьма над снадобьем, в результате чего Михаил Моисеевич действительно заболел животом и умер, а Димка писал: «Мне положить на статую Свободы, но то, что здесь никто не ест суп, делает Америку уютной».

– Интересно излагаешь, – как-то напрягшись, перебила меня Дин, – в Америке, правда, нет супа, но в Америке все все время жрут. Так и ходят то с сосиской, то с банкой пива.

– А еще у Димкиной мамашки был любимый финт: наливает свой любимый супчик, зовет есть. Димка с отцом сидят, такие два очкарика в шахматной коме, ничего не слышат.

Она говорит: «Суп остывает – раз! Суп остывает – два! Суп остывает – три!» Потом подходит и смешивает все шахматы на доске. Димка убегает плакать, а Михаил Моисеевич садится с погасшим лицом есть суп... – вспомнила я.

– У моего брата есть версия, что ты стала художницей, чтоб переиграть его мамашу, – сказала Дин неопределенным голосом.

– У твоего брата много версий. Зачем мне было переигрывать его мамашу, когда у меня собственная – не меньший подарок? Если б я была писательницей, я бы создала «Декамерон» о мамашах нашего поколения. – Я часто думала о том, что для них насилие было нормой жизни, и те из нас, кто перешел к новому гуманитарному стандарту, все время конфликтовали с матерями.

– Его мать была талантливой несчастной женщиной, – доверительно сказала Дин.

– Это была ракета средней дальности!

– Просто они с отцом люди из разных галактик.

– А с твоей матерью?

– Моя мать – юная девушка, влюбленная в собственного начальника и решившаяся родить. Другой жанр. – Она закопошилась в одном из чемоданов. – А кстати, я привезла всякой ерунды, вот, смотри, смывающаяся татуировка. Давай переведем на твою красивую грудь. Как раз под это платье. – Она помотала передо мной картинкой с алым сердцем, обведенным черными ажурными узорами.

– Это больше подходит моим девчонкам.

– Да брось ты, в Америке в этом смысле вообще нет проблем, все как хотят, так и отряхиваются. Я имею друга, который ходит в красных шортах и советском матросском бушлате. Мотивирует любовью к России. Весьма уважаемый господин, индуист по профессии. – Она вырезала сердце ножницами, обмакнула в недопитый сок, подошла вплотную и начала клеить его мне в декольте. Я снова напряглась, для меня психологически невыносимо, когда кто-то, кроме дочек и сексуальных партнеров, оказывается со мной на расстоянии дыхания. Из-за этого я схожу с ума в переполненном вагоне метро и предпочитаю ему утомительный пешеходный маршрут. Я зверею, когда меня обнимают без моего желания, когда мне начинают длинно целовать руку, считая это хорошим тоном. Я глубоко убеждена в том, что у моего тела есть только один хозяин – мое желание, и завидую западным феминисткам, имеющим возможность защищаться от мужских хватаний с помощью судов.

Дин благоухала сразу всеми флаконами, стоящими на столе, ее загорелая мужиковатая шея упиралась в мои глаза, была напряжена и густо напудрена, а кисти халата щекотали мой живот. Но дело было не в этом... дело было в том, как она держала мою грудь одной ладонью и окучивала картинку другой. Так держат женскую грудь опытные мужики и онкологи. Я мгновенно поняла то, что, не сформулированное, не давало мне покоя – она была лесбиянкой!

Как только я осознала это, мне сразу стало спокойно. Я не люблю вторые планы и мешки с секретами. Как говорила Пупсик, у меня – «культ искренности», я чувствую себя комфортно в мире, где все вещи имеют свои имена, а все овощи – свои сезоны.

– Супер, – оценила Дин собственную работу над моей грудью.

Все понятно, поэтому она не Дина, а Дин. Бесконечное бессознательное соперничество с братом, воспитываемым отцом, борьба за Михаила Моисеевича с попыткой идентификации себя с мальчиком... Психоаналитические соображения помирили меня с Дин и настроили на логику шефской работы.

– Это напоминает мою хипповскую юность. Был период, когда мы рисовали на щеках фломастерами цветы и шли на улицу Горького, где нас волокли в ментовку и били. Мы называли себя «дети-цветы». Когда нас отпускали, мы снова рисовали цветы и снова шли на улицу Горького. Такая китайская работа по демократизации общества, – припомнила я.

– Чистый мазохизм, – усмехнулась Дин.



– Твой брат считал так же, он был не боец, – вспомнила я с обидой. Каждый раз, когда Димка не шел со мной, мне казалось, что он предает меня.

– Может быть, он просто не любил ходить строем, даже если строились хиппи? – усмехнулась она.

– Тем не менее эмигрировал он строем, – не осталась я в долгу.

У меня было несколько приятельниц-лесбиянок. Честно говоря, меня никогда не волновал вопрос чужой сексуальной ориентации, хоть с насекомым, лишь бы по согласию. Но некоторые из них сами наезжали со своей нетерпимостью и тратили часы на то, чтобы доказать низменность пристрастия к мужикам. Я понимала, что такими дискуссиями они компенсируются, но раздражалась, потому что вообще-то они должны были компенсироваться не со мной, а с психиатрами за собственные деньги.

Мои знакомые лесбиянки вели себя по тому же алгоритму, что и мои знакомые эмигранты. Малый срок пребывания и малая уверенность в себе в новых предлагаемых обстоятельствах делали их агрессивными и заидеологизированными. Они носились со своей сексуальной ориентацией как дурак с писаной торбой. Прожившие в сексменьшинствах некоторый срок меньше демонстрировали убеждения, с одной стороны, нахлебавшись обид за них, с другой – попривыкнув к ним как к форме собственного прооперированного носа, когда уже не каждые десять минут бегают к зеркалу, а только каждые два часа. И наконец, определившиеся и разобравшиеся с комплексами вели себя достойно, не рассматривая жизнь как сплошную дискуссию «что такое хорошо и что такое плохо», а просто себе жили, не одергивали окружающих и себя не позволяли одергивать.

– Ты лесбиянка? – спросила я Дин тоном, которым спрашивают «у тебя волосы крашенные?». Она задумалась, завертела кисточки на халате и ответила:

– Мне нравятся женщины, – голосом, определяющим ее в третью категорию.

– С кем ты живешь в Нью-Йорке? – осторожно поинтересовалась я.

– У меня есть собака, замечательная колли. Ее зовут Дружба, сейчас она в собачей гостинице. Я имею всяких партнерш... и партнеров. У меня есть проблемы: связь с эмигрантами – это как резервация. А с американцами легко провести ночь, но трудно прожить даже неделю.

– У тебя собака нормальная? А то я читала, что вы там в Америке домашних животных под наркозом истязаете, – сказала я, чтоб перевести тему.

– У меня нормальная. Многие собакам оперируют связки, чтоб громко не лаяли. А котам под наркозом вынимают когти, говорят, от этого у них летит печень. У моей знакомой, кстати, сотрудницы Дома свободы...

– Что такое Дом свободы? – Название показалось мне коммерческим.

– Такая организация. Была создана во времена «холодной войны», теперь перепрофилировалась на третий мир. Что-то среднее между консервативными и либеральными правозащитными организациями. Они каждый год делают карту свободы, показывая страны, где абсолютно свободно, где абсолютно несвободно и все оттенки цветов между этими стадиями. Так вот, у этой моей знакомой кот. Он кастрирован, раскормлен, у него удалены когти и выпали зубы. Безумное создание, которое бродит по дому без всякой цели и всякого смысла, как игрушечный плюшевый мишка. Никогда не был на улице и ест только искусственную еду. Такой артефакт, а не кот, – невесело усмехнулась Дин.

– Я бы твою подружку из Дома свободы судила.

– Мне тоже не кажется правильным так обращаться с животным, но Америка потому и отмечена на карте другим цветом, чем Советский Союз, что там судят не те, у кого другое мнение, а настоящий суд, – процедила сквозь зубы Дин.

Тут зазвонил телефон, и мать голосом, намекающим на то, что «хорошие дочери звонят каждый день сами, а некоторым сукам должны звонить матери», спросила:

– Как успехи?

- Отлично.
- От девочек какие-нибудь новости есть?
- Никаких.
- Валера звонил?
- Нет.
- Понятно, – что подразумевало «где-нибудь там с бабой на пляже».
- Что тебе понятно? – как всегда, поддалась я на провокацию.
- Понятно, что не звонил, остальное тебе понятно и самой.
- Мне понятно, что не звонил, – злобно ответила я.
- Ты не одна? – Нюх у нее был феноменальный.
- Не одна.
- А кто у тебя?
- Ты не знаешь. – Мне совсем не хотелось кормить ее новостями.
- Ты не хочешь говорить, кто у тебя? – На старости лет мать, мало занимавшаяся мной

в течение всей жизни, истерически требовала «духовной близости», которой между нами не существовало как класса.

- Не хочу.
- Между прочим, мать у тебя одна.
- Я у себя тоже одна.

– Всего хорошего. – Она бросила трубку, загнав меня в лужу чувства вины. Дистанцию, которая была между нами от того, что она выстроила ее, когда я была маленькой и психологически нуждалась в ней, она виртуозно сокращала разборками. Эмоциональная жизнь представлялась ей как сплошное выяснение отношений, и это сводило с ума, потому что отношения кончились, когда в мои шестнадцать лет она забралась в мой личный дневник и, почерпнув оттуда сведения об отношениях со студентом, заперла меня дома на неделю. В качестве мотивации было объявлено, что я малолетняя проститутка и скоро принесу в подоле. Для разборки был вызван отец, который уже давно жил не с нами, а со своей медсестрой; он молча курил и выслушивал, что если бы он не был блядуном, то и дети были бы как дети. Я еще была мала и труслива, чтобы вякать. А через год ушла из дома, поселилась у нового возлюбленного и поступила в вечернюю школу.

Собственно, проблема отношений обнаружилась еще раньше, когда в четвертом классе, сбежав с уроков, я спряталась в кладовке при звуках поворачиваемого ключа и оказалась очевидицей появления матери с сутулым стоматологом из ее поликлиники.

– У нас полчаса, Лена, какой чай? – сказал стоматолог, и я услышала хохоток матери и стук падающего стула. – Нет, не так, давай сзади.

Тише индейца на охоте я выползла из кладовки и в щелку двери детской увидела стоящую на четвереньках мать с задранной юбкой и розовенькими трусами, обвивающими левую щиколотку над туфлей, увидела согнутую клетчатую спину стоматолога, его содрогающуюся голую и толстую задницу и большие малиновые уши. Я смотрела на них как загипнотизированная, а потом поплелась в чулан и плакала там до вечера. Вечером у меня поднялась температура и началась ангина с отеком горла. Отец сидел около кровати, поил меня с ложки и рассказывал истории, от которых в любой другой ситуации я бы рехнулась от смеха. Мне казалось, что я умираю, и было обидно, что не успею рассказать об увиденном Димке.

А когда выздоровела и рассказала, он задумался и ответил, что все про это знает, что когда их кошке приносят кота, они делают точно так же, а потом бывают котята. Мысль о том, что у меня появится брат или сестра с такой же задницей и такими же ушами, как у стоматолога, казалась мне невыносимой. Мы с Димкой влезли в Малую советскую энциклопедию тридцать первого года издания и обнаружили там статью про половое размножение, начиненную словом «гамета», показавшимся нам верхом неприличия. Мы нашли статью про половую

зрелость, из которой выяснили, что через три-четыре года и нас туда пустят; статью про половые извращения, из которой не поняли ни слова; и статью про половые органы, изображенные висящими в пространстве и непонятно как вставляемые в человека. Сексуальное образование, данное школьным фольклором и Малой советской энциклопедией, дало свои плоды. Дочь двух врачей, я узнала о менструации по факту ее появления, а о контрацепции после первого аборта в шестнадцать лет.

И когда отец, заловленный на многолетних отношениях с медсестрой, объявил о намерении предпочесть их семье, мать выла и билась перед нами, вскрикивая о том, что «так-то он заплатил ей за кристальную верность!». Брату было шестнадцать, мне – пятнадцать, оба мы были изнурены двойным стандартом родительских представлений о жизни и производными от него запретами на все, что позволяло нам чувствовать себя взрослыми и полноценными. Из нашего участия в семейной разборке мать не выдоила сочувствия... Мне потом долго снилось, как она орет о кристальной верности, какие искренние у нее при этом глаза. Чуть крыша не поехала, она ведь мне в детстве всегда говорила: «Посмотри на меня, и я увижу, если ты говоришь неправду».

– Кого это ты так тормозишь? – спросила Дин.

– Так, – ответила я, не собираясь устраивать душевного стриптиза. – Сварю-ка еще кофе.

– И мне, – попросила Дин, – второй день в Союзе, а уже восстанавливаются нездоровые привычки.

– В России, – поправила я.

– Вы действительно говорите теперь «в России»?

– Да, мы уже привыкли, что везде свои президенты.

– А от нас кажется, что это просто такая игра.

– Что наша жизнь? Игра! – пропела я, и тут раздался звонок.

Я подумала, что это соседка, алкашка Ирка, принесла продавать ворованное в больнице мясо, где ее мать, тоже алкашка, мыла посуду, но на пороге стояла Ёка.

– Я тут мимо ехала по делу, думаю, дай зайду.

Я страшно обрадовалась и почувствовала себя на десять лет моложе, потому что молодость – это когда приходят без звонка. Без звонка в дом теперь ходят только к девчонкам, и я завистливо реагирую на это: «Здрасьте, тетя Ира, а девочки дома?» А сама из Ясенево пилит. И если их нет, так спокойно: «Ладно, я завтра заеду». Такая шикарная небрежность ко времени и пространству, потраченным на исполнение желания.

– Заходи, заходи.

– Эта есть? – Ёка была симпатичной бабой с неистребимой провинциальностью и легкой восточинкой, за которую и получила кликуху как производное от Ёко Оно. Она была отлично покрашена, подстрижена и упакована в магазине для новых русских и завидно бы смотрелась, если б не напряженные усталые глаза. Я кивнула на комнату, и Ёка направилась туда деловым шагом, опередив меня. Она устала на Дин, сидящую на диване, а потом обернулась на меня растерянными глазами: – Господи, ну вылитый Димка! Только молоденький и блондинистый!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.